

ГОГОЛЬ: РАЗДУМЬЯ В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА
ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»



Гравюра Н. КАЛИТЫ

13.11.90
Юрий А.В.

ПАСХУ 1837 года Гоголь встретил в Риме. Он затомился в не любимом им Париже, хандрил, искал эмоциональной разрядки, душевного праздника. Еще с дороги писал матери, что хочет на Светлое Воскресенье «быть в церкви Святого Петра, где должен служить сам папа...». Так и вышло, и в письмах той поры он с удовольствием вспоминает обедню «в беспредельном Петре», римского папу «на великолепных носилках с балдахинном», многолюдный, красочный весенний Рим. Тут чувствуются увлеченность зрелищем, эйфория туриста. Долго ли длились они — трудно сказать, но спустя несколько лет воспоминание о таком же празднике пронизано уже совсем иным настроением. Я имею в виду начальные строки главы «Светлое Воскресенье», заключительной в «Выбранных местах...».

Это настроение человека, встречающего близкий его сердцу праздник «в чужой земле». «Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России». Там, дома, день этот кажется праздничнее и значительнее и люди радостней и лучше, чем всегда, и вот уже слышатся человеку величественный полночный перезвон колоколов, который «всю землю сливает в один гул», приветствия «Христос воскрес!», видятся братские объятия и поцелуи... И уже «он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!».

Такова интродукция. Но затем настроение сменяется трезвым раздумьем, мечта — реальностью, как только перенесешься, хотя бы мысленно, домой и припомнишь, что «день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов», корыстных расчетов, мелкого честолюбия, разговоров вовсе «не о воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит», и что «даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный полагается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня...». Нет праздника... Что толку, если «для проформы только», рисуясь перед подчиненными, начальник чмокает в щеку инвалида, что «какой-нибудь отсталый патриот», в досаде на молодежь и ей в поученье, громко заклеймит Европу и восславит святую Русь, — все равно «это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет». Потому что «не в видимых знаках дело, не в патристических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду...».

Но в чем же?

Суть великого праздника, отвечает Гоголь, «в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека».

После этих слов может показаться странным, что цензура осталась недовольна гоголевской статьей и подвергла ее правке (а так было). Дело, однако, в том, что мы пока не вышли за пределы вступительной части главы; приведенный монолог логически связан не столько с реальностью, сколько с праздничными, к тому же ностальгически окрашенными, мечтаниями о ней. Подлинная реальность предстает у Гоголя отнюдь не в виде праздника всеобщего братства.

С ужасом вглядывается писатель в лицо своего века — века высоких взлетов гордого ума и страшных нравственных падений. Он видит: никогда еще не было такого множества призывов, проектов и грез «о том, как преобразовать все человечество», как сделать, «чтобы все было общее — и дома и земли»; никогда доселе не звучало столько слов о «подвигах сердоболья и помощи несчастным» и не было так «тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов». Но никогда, никогда не было у человека и такой черствости, равнодушия, презрения к живому, грешному, страждущему брату своему, высокомерного отращения к «гною ран его», к «смрадному дыханию уст несчастного», к «тяжелым язвам» его недостатков, не было такой непримиримости к несогласию «в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях». Никогда еще так нагло, «как всепогубляющая саранча», не входила в мир, вытесняя ум и добро, злоба; не торжествовала «мода, ничтожная, незначущая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке». Даже те, кто смеется над этой фантазмагорической диктатурой моды, — и те «пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку», каждый «боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий

мальчишка», но никто не боится «преступить несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа».

Да какой же он христианин, этот «человек нынешнего века»? Он только «думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин», на самом же деле... «Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!». Потому и нет, потому и не может быть истинного Светлого Праздника, что нынешний человек не в силах обнять в этот день другого человека. «Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет».

Уходят в прошлое «обычай вечного века», исчезло «даже и то наружное добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку»; и уже едва трогают нашу душу воспоминание о младенчестве, «как бы виденном в каком-то отделенном сне», прекрасном младенчестве, «которое утратил гордый нынешний человек». На место прежнего, старосветского Вия, уходящего корнями в землю, в почву, приходит Вий новый, еще более жуткий — жуткий своей бесплодной пустотой, мертвенностью, Вий-фантом. «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполкинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Божье пусто и страшное становится в Твоем мире!»

В этом мире новую силу набирает дьявол. «Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет послушаться».

Так возникает в «Выбранных местах...» тема бесовства, диктующего свою волю покорному, бессловесному миру; четверть века спустя тема эта получит гостевую художественную разработку в Достоевского, а в наши дни не только не тускнеет, не отходит на задний план, но, напротив, наполняется актуальнейшим смыслом.

Не чем иным, как именно бесовством, «насмешкой духа тьмы», не может Гоголь объяснить то, что «люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. ...И мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?».

Для Гоголя это — симптом надвигающегося социального землетрясения, и не просто симптом, но уже сам адский перводолчок, за которым следует катастрофа, взрыв слепой всеразрушающей стихии...

И тут он возвращается с общеевропейских просторов — домой, в Россию, к ее «страхам и ужасам». И к ее надеждам, ибо «в России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасению». Ведь «где будят, там разбудят» — разбудят «гулы всезвонных колоколов» в праздник Светлого Воскресенья. Глухо звучат нынче колокола, поблек праздник на русской земле, померк, как и всюду, «в пустых и выветрившихся толпах», но это померкшее временное. «Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. ...Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом». Все забытое вспомнится, все померкнувшее вспыхнет — «и праздник Светлого Воскресенья воспринимается, как следует, прежде у нас, чем у других».

Блок когда-то заметил, что гоголевские «заветы так же антиномичны, как русская жизнь...». И правда, удивительно это смешение у Гоголя здравого смысла с социальным инфантилизмом, трезвости самокритичного взгляда с мессианистскими иллюзиями. Он отлично видит и понимает, что «никого мы не лучше», ничуть не ближе «жизнью ко Христу», чем другие народы, что «хуже мы всех прочих» и жизнь наша «еще неустроенней и беспорядочней всех их». И вместе с тем ему хочется верить, что «еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые составляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними...»; вместе с тем ему кажется, что «есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа», что «начала братства Христова» уже заложены «в самой нашей славянской природе», для которой «побратанье людей» издавна было важнее «даже и кровного братства». Вот глубокое замечание: «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприятное...». И тут же благородная, но — увы — наивная вера в то, что будут забыты «всякие ссоры, ненависти, вражды», «брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек». Есть основание у Гоголя для веры — именно так и было «в двенадцатом году». Но мог ли он знать, что в следующем веке история даст его предсказанию лишь одно подтверждение — годы другой Отечественной войны, зато принесет целую цепь кровавых опровержений, каиновы братоубийства, разгул бесовства...

К счастью, этого Гоголю уже не суждено было увидеть, и заключительную главу своей книги он заканчивает все-таки словами надежды: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспринимается Светлое Воскресенье Христова!»

Гоголь знает: для этого необходимо «дело» в противовес пустым «мечтам и мыслям», «бледным христианским стремлениям» века. Но это не то «общее дело», о котором позднее говорил другой русский мыслитель, Н. Федоров, — участие и единение людей «в метеороическом и космическом процессе... воскрешения родителей и родственников». Федоров зовет к буквальному, физическому, воскрешению умерших, к преодолению «рабства тления», и такой космизм, как это ни странно звучит, приземлен, он чем-то сродни «мистическому натурализму», который Бердяев находил у Розанова... Гоголь, говоря о «деле», имеет в виду не абстрактно-всеобщую, всечеловеческую, а глубоко индивидуальную любовь к человеку как брату. И воскресение человека Гоголь понимает как духовное воскресение человека живого, как его нравственное самосовершенствование, обретение им способности взглянуть на самого себя и осознать самого себя. Для Федорова Христос — главным образом Воскреситель, воскрешение Лазаря в Вифании — это «завершение дела Христова», апогей всей его деятельности. Для Гоголя Христос — Учитель и Спаситель, вершина его мудрости — моральный закон, провозглашенный в Нагорной проповеди, а высший пример — страдания и смерть на кресте за грехи людей, во имя их спасения.

Воскресение несет человечеству «благовест» не о продлении до бесконечности земного существования — это было бы слишком плоско и слишком мало, а о спасительном возрождении души.

Юрий БАРАБАШ